



НОВАЯ ПОЛЬША 3/2002

Содержание

1. Я — ПОСЛЕДНЯЯ
2. РОССИЯ, АМЕРИКА, ЕВРОПА...
3. О ЧЕЛОВЕКЕ

Я — ПОСЛЕДНЯЯ

Лидия Цёлкош (1902–1999) — деятель Польской социалистической партии (ППС), публицистка и историк, с 1979 г. — председатель ППС в эмиграции (Лондон).

Если говорить о том, как я пришла к социализму, то не могу исключить влияние литературы, того, что я читала. Я из еврейской семьи, польско-еврейской, нас воспитывали в духе уважения к книгам, мы зачитывались теми книгами, которые нам попадали в руки. То же самое и с социализмом.

Несомненно, все эти социальные моменты появлялись, скажем, в романах Ожешко или стихах Конопницкой. Они должны были на меня воздействовать — и воздействовали. Мы ходили в гимназию им. Элизы Ожешко, где по крайней мере несколько учителей и членов правления гимназии состояли в ППС, отсюда и влияние школы. Это во-первых. Второе: влияние моей матери, которая с головой была погружена в борьбу с бедностью, нищетой и т.д., и меня втянула в это. С шести лет я мыла молочные бутылки в обществе «Капля молока», выдававшем бесплатное молоко женщинам с детьми. Я жила в Лодзи, где нищета так бросалась в глаза, что даже дети это понимали.

После окончания школы оказалось, что все мои подруги, собиравшиеся продолжать образование, поехали в Варшаву, а я — в Краков. Я с детства мечтала о нем, и хотя знакомых у меня там не было, я решила поступать в краковский университет. Как только я туда приехала, сразу, в первые дни, пошла в правление еврейской общины и официально вышла из ее состава. А потом пошла в редакцию «Напшуд» («Вперед») и подала заявление о вступлении в ППС. С началом занятий в университете возникла и студенческая секция ППС. На первое собрание пришел Адам. Я увидела его впервые в жизни. У него за плечами уже была армия, Силезское восстание. Чему было посвящено то первое собрание — абсолютно не помню. Помню только, что Адама выбрали председателем, и я, 18-19 летняя девушка, заранее знала, что это он и есть.

В то время я отождествляла ППС с Обществом друзей детей, устраивавшим летние лагеря, детский театр и т.п. Общество друзей детей было моей первой работой, которая мне очень нравилась, а второй стал Народный университет им. Мицкевича, проводивший лекции в профсоюзах и т.п. Но в 1922

г., после смерти президента Нарutowича, в знак протеста против этого убийства возникло Товарищество рабочих университетов. Естественно, Адам очень много в нем работал, ездил, читал лекции почти везде, был прекрасным оратором и на политические, и на просветительные темы. Он явно превосходил меня, я была влюблена в него по уши, и говорить нечего. В конце концов мы решили вступить в гражданский брак, и Адам обратился к своему ксендзу за метрикой. Ксендз спросил, где будет заключаться брак. Адам сказал, что в городском управлении, у президента Кракова. «Тогда я не дам метрику». Адам пошел в воеводские власти. Был там такой заместитель воеводы, который сказал Адаму: «Я вам дам освобождение от метрики». Пошли мы в управление с двумя свидетелями, а президент говорит: «Вы, господа, люди образованные, не мне вам объяснять, что такое супружество. У меня сегодня очень важная встреча под Краковом, так что, может, подпишетесь вот здесь, на этих двух листах?». Ну и подписали, там было так хорошо написано: новобрачный, новобрачная.

Майский переворот 1926 г. совпал с расцветом фашизма в Италии. А эндеки [национал-демократы] тогда поддерживали политику Муссолини, идеологию фашизма. Поэтому Пилсудский со своим переворотом их опередил, а левые поддерживали Пилсудского: ППС, народники, демократы — все поддерживали майский переворот. И большинство ППС было решительно на стороне Пилсудского. Он еще до переворота пообещал тем партиям, которые его поддерживают, что при успехе он тут же распустит Сейм и на самое ближайшее время назначит новые выборы, однако этого не сделал: с разругавшимся и расколотым Сеймом, за которым числились самые разные грехи, играть было удобнее. И с тех пор ППС выступала против политики Пилсудского, направленной на установление президентского правления и ограничение власти парламента, словом, наносившей удар демократии. Из выборов 1928 г. ППС вышла довольно сильной, но не настолько, чтобы суметь вместе с крестьянской партией ПСЛ-«Вызволене» («Освобождение») образовать парламентское большинство. Тогда моего мужа впервые избрали депутатом Сейма. А в Сейме начиналась борьба с фракцией санации. В Кракове, на вокзале, среди бела дня на Адама напали их боевики. Врач «скорой помощи» сказал, что еще бы немножко и ему не жить, потому что его били по голове. Главарь боевиков отделался за это нападение 20 злотыми штрафа.

После произошли брестские события, шел 1930 год. За мужем пришли трое, ночью. Дома его не оказалось, поэтому его ждали

внизу, у ворот, а со мной разговаривали наверху. Когда пришел Адам, ему предъявили ордер на арест, посадили в автомобиль и увезли.

Как только брестские узники вернулись, оппозиционные фракции в Сейме сделали депутатский запрос по поводу Бреста и того, как там обращались с людьми, того бесправия, которым стал Брест. Потом началась подготовка процесса, который проходил в Варшаве. На скамье защиты сидели виднейшие польские адвокаты, сами предложившие свои услуги. В результате мой муж получил 4 года тюрьмы и 10 лет лишения гражданских прав.

В Кракове мы жили несколько лет, а поскольку Адама лишили гражданских прав, в городском совет выбрали меня: ему было нельзя. Он занимался партийными делами. Годы с 1936 по до начала войны были годами мощных забастовок.

Была в Кракове такая шоколадная фабрика Пясецкого. Пясецкий не допускал профсоюз на фабрику. Профсоюз сам туда вторгся, и его секретарь попросил меня выступить и разъяснить ситуацию женщинам и мужчинам (большинство все же были женщины). Профсоюз потребовал заключить коллективный договор, а Пясецкий, как только люди в тот день ушли с работы, закрыл фабрику. Приходят они утром, ворота закрыты, не войти. Секретарь послал за мной, я прихожу. Он говорит: «Что делать будем?» Я отвечаю: «Уже июнь, привезем солому под ворота, и он не сможет вывезти товар, а они сядут на солому и будут сидеть день и ночь, пока он не согласится». Так и сделали. Само собой, оркестр железнодорожников приходил играть, рабочие с других фабрик после работы приходили на танцы и всякое такое, а женщины пели, декламировали и т.п. Стоял полицейский и смотрел за порядком, выступала в основном я, но и другие ораторы тоже. Словом, Пясецкий проиграл, отступил, подписал коллективный договор. Адам тогда был председателем партийной организации Малопольши и Кракова, и делегация работниц с этой фабрики пришла его поблагодарить. «Есть у нас к вам, товарищ Цёлкош, одна просьба, — сказала руководительница делегации, — не присылайте к нам ораторов из евреев, лучше пусть всегда приходит товарищ Лидия Цёлкош».

Когда началась война, Адам, будучи офицером, обратился на призывной пункт, но ему сказали, что он лишен гражданских прав а потому не может служить в армии. Из Кракова мы ушли пешком и около Луцка узнали о вторжении советских войск. Мы поехали во Львов. Туда прибыл курьер от Пужака, чтобы

Адам обязательно как представитель партии всеми возможными способами как можно быстрее добирался до Парижа, потому что Сикорский формирует правительство и ППС должна быть представлена. И мы пошли пешком с ребенком на венгерскую границу. Там нас схватили, привели на допрос к советскому полковнику. Переводчиком у него был милиционер-украинец. Ну, значит, начал он с нами: «Профессия?» — Я говорю: «Библиотекарь». — «А муж?» — «Книги пишет». — «Какие книги?» — «По истории». — «Тогда чего вы тут около границы околачиваетесь?»

Однажды наш сын Анджей говорит: «Ну, пожалуйста, поцелуй меня, а то я больше не выдержу». Это было уже после двух или трех недель сидения в тюрьме, чего ему хватило сполна. Полковник велел перевести, что он сказал. Я убеждена, что где-то в России у него остался ребенок примерно в возрасте нашего, может, тоже мальчик. Как он услышал слова Анджея, его это, должно быть, за душу взяло, и он нас выпустил. Мы вернулись во Львов, Адам выбрался за границу, а я с ребенком была во Львове и собиралась в Литву. И добралась туда. В Вильнюсе мною уже занялись местные социалисты и бундовцы. Когда мы установили контакт с Парижем, то мне пришлось поехать в Каунас за французской визой. Визу я получила и через Ригу легально отправилась в Швецию, впервые в жизни самолетом. Потом — в Амстердам, из Амстердама — в Бельгию, из Бельгии — в Париж. В Париж я приехала позже, чем ожидалось. На вокзале я совершенно неожиданно увидела мужа — оказалось, что он приходит на вокзал вот уже почти две недели.

Все это мы пережили и начали обычную эмигрантскую жизнь. Как политик-эмигрант, политик-социалист, Адам придавал громадное значение установлению контактов и укреплению отношений с социалистами других стран, тоже эмигрантами, но прежде всего стремился наладить прочные связи с английскими лейбористами.

Должна сказать, что и во время войны, и после, до конца жизни, он играл видную роль в международном социалистическом движении, представляя в нем не только польских социалистов, но социалистов тех стран, которые находились под немецкой, а потом под советской оккупацией. Здесь, в эмиграции, возник глубокий раскол в ППС относительно политики Гомулки: поддерживать Гомулку или нет. Мы принадлежали к числу противников. Но под влиянием Зыгмунта Зарембы Главный совет с перевесом в два голоса выступил за поддержку Гомулки. Тогда они нас вопреки уставу без партийного суда исключили из ППС, и раскол продолжался

еще... около 30 лет, вплоть до момента, когда Ян Юзеф Липский начал создавать ППС в Польше. А поскольку я была и до сих пор остаюсь привязана к той нашей старой ППС, я очень переживаю за то, что происходит в ППС на родине, очень, очень переживаю. Естественно, никакого влияния на это я уже не имею. Мы оба были так эмоционально связаны с ППС, с этими людьми.

С Густавом Герлингом-Грудзинским я познакомилась еще во Львове, во время советской оккупации. Когда мы приехали в Лондон, мы жили в трехкомнатной квартире, где в каждой комнате было по семье. Короче, условия действительно трудные, но Густав с Кристиной жили у нас, и тогда же началась наша большая дружба. Когда Густав начал писать «Иной мир», они уехали от нас. Потом Анджей переводил эту книгу [на английский].

Прекрасно помню, как Анджей пришел и снизу кричал, что Хайнеман принял книгу, а Бертран Рассел написал к ней предисловие. Лучше и быть не могло. Рецензии были исключительные и во всех много высоких похвал переводчику. А потом Анджея не стало... В марте 1952 г. он покончил с собой.

У Адама было очень больное сердце, он умер в 1978 г. от шестого инфаркта. Врач пришел и определил, что у него опять инфаркт, хотел вызвать «скорую» и отвезти в больницу. Я отозвала доктора из комнаты и спрашиваю: «Как долго, по-вашему, он протянет в больнице?» Он говорит: «Дня два-три». Тогда я сказала: «Пожалуйста, сделайте это для меня, не отправляйте его в больницу, это не имеет ни малейшего смысла, пусть лучше он умрет здесь, рядом со мной, рядом со своими книгами, со своими бумагами». И Адам остался дома. В тот день в гости пришел Войцех Карпинский. Они, естественно, долго говорили, и настал момент, когда я решила, что Адаму уже устал от разговора, позвала гостя в кухню, будто бы поесть, а Адам ужасно разволновался и не отпускал его, все держал за руку и повторял: «Вы — последний человек из Польши, последний».

На похоронах был ксендз Спорный, и флаг ППС стоял у гроба. Свящ. Миревич начал свою речь словами, что наконец-то настало время, когда ксендз-иезуит может произносить речь над могилой самого заслуженного социалиста и это не вызывает никаких возражений. А я через несколько лет после смерти мужа крестилась.

Когда я ехала в Польшу после 1989 г., мне было страшно не по себе, что еду я, а не Адам, что Адама больше нет. И не ожидала

такой встречи в аэропорту, Ян Юзеф Липский действительно очень постарался. В Кракове я хотела пойти в университет, но не пошла, потому что боялась, что расплачусь, не смогу говорить. Не пошла я и к дому, где мы жили, тоже боялась расплакаться. Да и по Кракову-то я ходила, чуть не плача, чуть не плача. Психологически я была разбита. Но и счастлива, что приехала, что доехала. Из товарищей по партии моих времен уже почти никого не оставалось.

Вся моя жизнь с краковских, с университетских и далее времен — это была жизнь с Адамом, самая счастливая. Несчастье нас встретило со смертью сына. Думаю, когда человеку 92 года, то определенные вещи кончаются, и... через неделю мне предстоит операция — как завершится, неизвестно. Но я ни о чем в моей жизни я не жалею.

РОССИЯ, АМЕРИКА, ЕВРОПА...

Предлагаем вниманию наших читателей интервью с Леопольдом Унгером, взятое Ярославом Курским из «Газеты выборчей» накануне визита президента Путина в Польшу. Следует отметить, что мнения Унгера не потеряли своей актуальности: за прошедшие несколько недель его прогнозы в большинстве своем сбылись, а его предостережения продолжают оставаться весьма ценными. Леопольд Унгер (см. статью о нем Стефана Братковского в «Новой Польше», 2001, №7-8) — не только выдающийся польский публицист, но и истинный авторитет в международном журналистском сообществе. На протяжении многих лет он был обозревателем газеты «Интернэйшнл геральд трибюн» и брюссельской «Суар» (постоянным сотрудником которой остается по сей день), в последнее десятилетие печатается также в «Газете выборчей».

*

— 11 сентября, день террористического авианалета на Всемирный торговый центр, изменил направление мировых геополитических векторов. Визит Владимира Путина в Варшаву вписывается в новую внешнюю политику России. Но какой России?

— Начнем с парадокса. 11 сентября стало переломной датой, однако Соединенные Штаты этот день изменил лишь в малой степени. По-настоящему глубоко он изменил Россию. Президент Путин и раньше посматривал на Запад. Но крупный политический поворот в отношениях с Западом он совершил только после 11 сентября. Его ходы, как в шахматах, были мастерскими с точки зрения тактики, разумности и политического инстинкта. Путин первым отреагировал на террористический акт в США. Он первым осознал, какой вызов брошен Бушу, первым схватил трубку и позвонил ему. Он первым сел в вагон, а точнее, в локомотив того поезда, который отправился 11 сентября с Манхэттена. И, наконец, не спрашивая ни у кого совета, наверняка вопреки своим генералам и гебистам (которые до сих пор не скрывают своего недовольства), а также давней российской традиции равновесия сил он открыл американцам базы в постсоветской Средней Азии.

— Не была ли это всего лишь тактика? Неужели Россия действительно отказалась от великодержавных амбиций и

избрала прозападный курс на сближение с НАТО и Европейским союзом?

— К этому надо подходить осторожно, еще не время давать гарантии. Но есть красноречивые сигналы — например, спокойная реакция Путина на односторонний выход американцев из договора по ПРО. Грубо говоря, он проглотил это, хотя до того утверждал, что договор по ПРО — основа мировой стабильности в области вооружений. Несмотря ни на что, Путин пока твердо держит курс на Запад. Вписывается ли визит в Польшу в этот новый курс и до какой степени — покажет будущее.

— Что этот новый курс дает России?

— Немало. Кто теперь помнит, а уж тем более упоминает о кровавой расправе российской державы с Чечней? Тишина, никто и не пикнет. Ни один политик на свете не сошлется на чеченский ад, чтобы помешать России войти в западные салоны. Кроме того, Россия с ходу получила то, чего Ельцин добивался годами и, собственно, так до конца и не добился, — не откидное сиденье, а настоящее восьмое кресло в группе семи богатейших стран мира. «Большая семерка» — это прежде всего экономическая организация, и принадлежность к ней должна зависеть исключительно от экономических критериев, которым Россия, разумеется, не соответствует.

Это далеко не последний парадокс со сместившимися после 11 сентября полюсами геополитики. Например, благодаря американцам Россия вернулась в Афганистан. То, что не удалось сделать всей советской армии на протяжении многих лет войны, Путин совершил, не потеряв ни единого солдата.

— Это хорошо звучит, однако что общего у этих слов с действительностью? Россия не оккупирует Афганистан, там нет даже ее миротворческих сил.

— Путин не хочет колонизировать Афганистан. Он хочет контролировать ход событий. Сегодня в Афганистане нет (по крайней мере официально) российских военнослужащих — есть гуманитарная миссия, специалисты по строительству. Но России есть на кого рассчитывать в Кабуле. «Северный альянс» — это ведь в большинстве своем люди вооруженные, обученные и воспитанные русскими, а в некоторых случаях и Советским Союзом. Скажем, министр обороны в новом кабульском правительстве генерал Фахим — бывший офицер ХАДа, афганской коммунистической службы безопасности, воспитанник учреждения, породившего Путина.

— Все это повышает престиж, дает политические выгоды, но ведь ясно, что дело не только в этом...

— Не только. Россия предлагает Западу крупный, ключевой для ее будущего места в мире энергетический пакт. Она предлагает огромные поставки нефти и газа. Всем известно, что Россия располагает неограниченными топливными ресурсами, но, по мнению специалистов, без западных инвестиций, без массового трансферта технологий добычи ей никогда не удастся добывать нефть и газ в том объеме, который она предлагает поставлять. Конечно, какие-то инвестиции уже давно осуществляются, но все же им далеко до необходимого уровня. Путин играет наверняка. Он чувствует конъюнктуру и делает предложение Западу как раз тогда, когда тот ищет независимости от поставок со Среднего Востока (как Польша ищет в Норвегии независимости от российских поставок).

— А отношение России к НАТО?

— Лед тронулся. Мы стали свидетелями своего рода помолвки России с НАТО. Пока все происходит в сфере жестов, связанных скорее с престижем. Новая конструкция: заседания двадцатки вместо прежней формулы «19 плюс 1», иначе говоря, НАТО вместе с Россией, а не НАТО плюс Россия, — это еще только проект. Но России важна не арифметика, а престиж, т.е. прежде всего политика. Она хочет обеспечить себе участие в принятии решений, по крайней мере по некоторым ключевым для нее вопросам, наравне (в пределах возможного) с другими членами НАТО.

— Для польской дипломатии членство Польши в НАТО должно было стать страховым полисом, защищающим ее от России. Имеет ли сегодня эта концепция хоть какой-то смысл?

— Членство Польши в НАТО — это много больше, чем страховой полис. Однако неудивительно, что сближение России с НАТО и ее возможное влияние на некоторые его решения может и даже должно вызывать, мягко говоря, настороженный интерес как у Польши, так и у стран-кандидатов, особенно у стран Прибалтики. В принципе — и пока что — в сближении России с НАТО нет ничего опасного. Ведь если в кругу 20 ти Россия скажет свое «нет», члены НАТО всегда могут собраться в кругу 19 ти и принять решение, отвечающее их интересам.

— Однако и без кресла в НАТО геополитический потенциал России неоспорим. Не будет ли ее голос в диалоге с НАТО

значить больше, чем нам бы того хотелось? Одним словом, не пускает ли Запад медведя на пасеку?

— Нет. Медведь пока знает меру, а пасека хорошо охраняется. Конечно, это не меняет факта, что без России невозможно построить прочный мир — ни в Европе, ни во всем мире. Сегодня Россия, как держава, не представляет собой угрозы для демократического мира, но зато обладает колоссальным потенциалом нанесения вреда. Нужно превратить его в потенциал партнерства.

— Вот именно, можно ли назвать новую внешнюю политику России устойчивой?

— Это покажет время. Пока что, ввиду явных международных успехов и необыкновенно прочного личного положения Путина (кажется, около 70% поддержки), в России нет сопротивления его политике. Как обычно, протестуют коммунисты, немного Жириновский, но все это пока скорее фольклор. Но внимание: именно в таких условиях в России возможно все. Не знаю, сумеет ли Путин (если вообще захочет) преодолеть противоречие между нынешней политикой по отношению к Западу и попиранием западных ценностей во внутренней политике. Он контролирует все основные рычаги власти: армию, госбезопасность, регионы, да и парламент, в котором практически нет оппозиции. Россию еще нельзя назвать демократическим и по-настоящему правовым государством. Итог неутешителен. Путин ликвидировал независимую комиссию по делам помилования, лишил общественное мнение таких источников информации (т.е. средств контроля над действиями властей), как задушенная в прошлом году независимая телекомпания НТВ или уже обреченная последняя свободная телевизионная трибуна ТВ 6. Это знаменательный пример отношения команды Путина к свободе слова. К этому следует добавить недавний приговор, вынесенный журналисту Григорию Пасько. Иными словами, притом абстрагируясь от намерений, можно сказать: раз Путина никто не контролирует, раз все зависит от одного человека — все становится легко обратимым.

— Какой может быть его политика по отношению к объединяющейся Европе? Сознает ли он, что он свидетель великих перемен к западу от Польши, а может быть (вскоре после расширения ЕС), и к западу от России?

— Пожалуй, да. Европа переживает революцию. В один день были ликвидированы 12 национальных валют, т.е. каждое из 12 государств отказалось от принципиального атрибута своей

суверенности. Введение евро — не только финансовая операция. Евро — это закваска нового европейского самосознания, первый шаг к истинной политической интеграции Европы. Конечно, иногда дело еще доходит до компрометирующих торгов на самой верхушке Евросоюза. Однако евро — это и условие, и шанс исцеления Старого Света от политической и военной немощи.

— Что вы хотите этим сказать?

— Как что? Достаточно вспомнить паралич Европы перед лицом осады Сараева или трагедии Сребреницы. А ведь это всего лишь в часе полета от Брюсселя! Но и после 11 сентября Европа осталась на обочине мировой политики. Европа, за исключением Великобритании, упустила поезд, отправившийся с Манхэттена. Каждое государство реагировало по-своему.

Европа всегда шла вперед скачками в экономической сфере, которые лишь затем высвобождали политическую динамику. С этой точки зрения введение евро имеет огромное политическое значение. Это доказательство потенциала Европы. Благодаря общей валюте, а также общей (в будущем) дипломатии и оборонной политике на мировой арене появится новая сверхдержава, причем не только торговая.

— А что из этого следует для России?

— Россия должна понять, что растет новый партнер, причем, повторяю, не только торговый, и что ей сегодня недостаточно по старой привычке говорить о судьбах мира исключительно с Америкой. При этом Россия не должна поддаваться искушению сыграть на американо-европейских разногласиях, ставя на Европу против США или наоборот. Сильная Европа будет более надежным союзником США. Стратегический союз Европы и Америки не ослабнет. Ни у Европы, ни у Америки нет альтернативы этому союзу, и уж Россия такой альтернативой не станет...

— Однако во внешней политике США никогда особо не считались с другими.

— Это правда. Достаточно вспомнить выход из договора по ПРО, срыв Киотского договора, наложение вето на Международный трибунал по правам человека. С этим можно не соглашаться, но понять это необходимо. Война с терроризмом в глобальном масштабе — абсолютный приоритет Буша и Америки. Террорист может оказаться где

угодно. Неизвестно, не сядет ли еще в один самолет Париж—Майами пассажир-самоубийца со взрывным устройством в ботинке. 11 сентября кончилось американское ощущение неприкосновенности. Поэтому война с терроризмом будет продолжаться. И если до 11 сентября американцы не очень-то знали, как им использовать свою колоссальную мощь, то теперь они это знают. Поэтому стоит предупредить Путина, да и не только его, что склонность Буша к принятию односторонних решений, пожалуй, даже возрастет. Это будет прагматическая односторонность: американцы и так убеждены, что никто их не любит (и часто бывают правы), и тем более будут делать то, что сочтут согласующимся с интересами их войны, а партнеров будут себе подбирать по мере надобности.

— И одним из партнеров «по мере надобности» будет Россия?

— Да, и Россия. Многое, как мы уже знаем, будет зависеть от Путина. Видимо, его поле маневра начнет сжиматься. В ближневосточном конфликте Соединенные Штаты в еще большей степени (хотя бы на фоне перехвата судна с иранским оружием для палестинцев) примут сторону Израиля — с американской точки зрения, единственной заслуживающей доверия проамериканской демократии между Средиземным морем и Тихим океаном. Москва будет поставлена перед лицом антагонизма между Америкой и арабскими союзниками России. И может настать момент, когда ей придется выбирать.

— Какую ситуацию вы имеете в виду?

— В США желание разбить террористическую сеть так сильно, что Буш всерьез рассматривает возможность нападения на Ирак или Ливию, если окажется, что они замешаны в операции бин-Ладена. Как отнесется к этому Россия? Ведь это не только дружественные России страны и в какой-то мере последняя сфера влияния российской дипломатии, но и главные покупатели (за наличные!) российского оружия. А продажа оружия — важная статья российского бюджета.

— Станет ли это концом коалиции?

— Говорить об этом еще рано, но антитеррористическая коалиция долго не продержится. Впрочем, она с самого начала была лишь фасадом. Для ведения войны США ни в ком не нуждались. Скорее им нужно было алиби, подтверждающее, что они не одни и воюют не с исламом. В сущности коалиция — образование противоестественное. Трудно поверить в антитеррористический энтузиазм Саудовской Аравии, жестокой феодальной сатрапии (недавно там как раз срубили

головы полутора десяткам гомосексуалистов), финансирующей всевозможные террористические организации, как антиизраильские, так и вообще мусульманских фундаменталистов. А Пакистан? Ему пришлось уступить перед лицом двойной угрозы (поскольку задействована была и Индия), но ведь именно в Пакистане находится самое большое скопление мусульманских экстремистов. Наконец, Иран. Конечно, Тегеран это отрицает, однако афера с судном, полным иранского оружия, показывает, что на самом деле интересуется Иран в коалиции.

— Не будет ли столкновение с исламским экстремизмом раздирать саму Россию, в которой живут 20 миллионов мусульман?

— С мусульманами внутри своих границ Россия должна считаться. Иногда только до определенной степени, как это видно на примере Чечни. С этой точки зрения можно только сожалеть, что российская пресса, насколько мне известно, не решилась опубликовать статью Орианы Фаллачи. Этот провокационный текст породил горячую полемику повсюду, где был напечатан (в т.ч. и в «Газете выборчей»). В России такая полемика позволила бы так называемым авторитетам, в том числе и мусульманским, отчетливо осознать (впрочем, не только в связи с исламским экстремизмом), что национализм и фанатизм ведут в ад, а не в рай, что не только теократическое, но и всякое автократическое государство — пагубная форма правления, что необходимо отделять религию от политики. Наконец (хотя я понимаю, что это вопрос деликатный) — что цивилизации или, скажем более осторожно, формы их проявления не равны друг другу. Одни из них лучше, другие хуже. Цивилизация, провозглашающая права человека и терпимость и порождающая прогресс, лучше той, которая отрубает руки, прокликает и вешает иноверцев, сажает половину общества [Унгер имеет в виду женщин. — Ред.] за «суконную решетку» и тормозит развитие. Поэтому обсуждение некоторых тезисов статьи Фаллачи в России могло бы стать интересным и полезным. Разумеется, нужно познавать и вырывать корни зла вообще и терроризма в частности. Одно из предварительных условий этого — называть вещи своими именами. Без обиняков. Журналисты, даже истеричные, иногда бывают правы.

Беседу вел Ярослав Курский

О ЧЕЛОВЕКЕ

Барбара Скарга родилась в Варшаве, до войны изучала философию в Виленском университете им. Стефана Батория, в 1944 г. была арестована НКВД, сидела в советских лагерях до 1955 года. В 1957 г. закончила философский факультет Варшавского университета, в настоящее время — профессор-пенсионер Института философии и социологии Польской АН. Автор многих книг по современной философии. Последние изданные труды: «Границы историчности» и «Тожественность и различие».

*

— Мы пригласили вас, чтобы поговорить о человеке, но хотели начать с коварного вопроса: существует ли еще сегодня человек как индивидуум, как личность?

— Ныне упорно твердят, что человека уже нет, человек умер, что ему наступил конец. Это слышишь с самых разных сторон. Чтобы говорить о человеке, сегодня нужно обладать немалой храбростью и самоуверенностью. Я не думала, что наберусь такой храбрости. А набралась, очевидно, потому, что хотела выступить против этого чудовищного мнения. Хотя в каком-то смысле оно обосновано...

— В каком смысле?

— Факт, что язык прежнего гуманизма уже устарел. Нужно было бы, говоря о человеке, использовать какой-то новый язык, которого у нас еще нет. Критика же вращается вокруг аргументов, ныне уже банальных. Самый простой их тип, наиболее распространенный, говорит о технизации нашей жизни. Технике полагалось быть послушным нам инструментом. Казалось, что для этого мы ее и создали. Но бывает и так, что она господствует над нами. Она изменяет наши нравы, образ жизни, отношения между людьми. Она приближает нас к себе — в том смысле, что облегчает контакты, но, с другой стороны, они становятся анонимными. Теряется их индивидуальный аспект: мы уже не умеем друг с другом разговаривать, мы общаемся. Это уже сто раз описанные банальности, но о них стоит напомнить. Ибо что представляет собой человек для науки? Это организм, вид, элемент общества, расы, нации и всего прочего... Но человека как личности нет. В сущности им управляют, скажем это прямо, анонимные силы.

— **Анонимные силы, которые он сам пустил в ход?**

— Это неизбежный процесс. Мы действуем себе на благо, но в то же время против себя. Мы никогда не знаем последствий процессов, которые пускаем в ход даже с благими намерениями. Мы изобретаем лекарство, которое потом оказывается причиной другой тяжелой болезни.

Современная критика человека затрагивает еще один важный вопрос. Сейчас осуждают всю форму европейской культуры — не только технику, науку, но и что-то, лежащее глубже, у истоков, как говорят философы, и что должно было разрешить проблему технизации нашего времени. Вот говорят, что со времен Декарта Я-cogito, или Я-субъект, все делает объектом, а объектом можно манипулировать. Отсюда вывод, что нужно забыть о философии субъекта, которую обвиняют ныне даже в том, что она породила тоталитаризм. Субъект начинают расценивать как узурпатора и винят во всевозможных репрессиях и насилии. Так что нужно отбросить понятие субъектности. Так теперь говорят. Но не каждый познавательный акт влечет за собой эксплуатацию и манипуляцию. Перечеркивая субъекта, личность, мы перечеркнем ответственность.

Критика субъектности и лозунг «конца человека» для меня столь же опасны, как вышеупомянутая анонимность. Это две стороны одной и той же тенденции.

Европейская культура, ибо только о ней я хочу здесь говорить, на протяжении веков двигалась к анонимности, а те, кто пытается эту культуру спасти, готовы причины этого находить именно в индивидуальном «я», как будто оно во всем виновато. По моему убеждению, здесь совершается крупная ошибка: анонимность — это факт, но единственная сила, которая может защитить нас от анонимности, которая может ее сокрушить, — это индивидуальное, ответственное «я».

— **Почему «человек без свойств» стал равно удобен и пригоден при тоталитаризме и демократии? Откуда такой спрос на этот тип человека? Почему мы на это соглашаемся?**

— Человеку удобней переложить ответственность на внешние обстоятельства, искать оправдания в истории, в обществе: это не моя вина, что я украл, меня так воспитали, виноваты семья, общество, история.

Люди не хотят думать самостоятельно; они необычайно легко поддаются тому, что положено. Хайдеггер бы сказал, что

победило анонимное «неопределенно-личное»: так говорят, так делают, так положено. Ныне господствует мнение, что говорит не человек, а язык говорит посредством человека, культура говорит посредством человека. Мы рождаемся внутри языка, который нас формирует с самого начала, мы рождаемся внутри культуры, которая нас формирует. Все это правда, но не вся правда. Ибо кто мы такие? Кто такие те, чьи голоса мы слышим в культуре? Неужели автора в самом деле нет? Хотя язык нас формирует, хотя он каким-то образом организует наш интеллект, не подлежит ни малейшему сомнению, что только в отдельном человеке таится та удивительная созидательная сила, которая способна этот язык изменить. Обновить его, избавить от штампованных оборотов.

Этой силой обладает только отдельный человек: ученый, поэт, философ — такой, как Кант, Гуссерль, Хайдеггер, Декарт, тот, кто изменяет наш образ мыслей. Благодаря ему уже все мыслят иначе. Затем рождаются новые стереотипы и вновь овладевают нами, но всегда есть где-то тот единственный, кто отважился изменить наши взгляды.

Автор существует! А раз он существует, то поклонимся ему. Не будем говорить, что его посредством культура заговорила, ибо заговорил он, воздадим ему должное.

Кто-то отважился высказаться иначе, чем все. Ибо нужно иметь храбрость, чтобы мыслить иначе и чувствовать себя кем-то другим.

— Этот страх — проявление боязни отчуждения?

— Может быть. Группа людей хочет быть вместе, поэтому, например, даже дети хотят быть похоже одеты. Иначе они рискуют выделиться, а мы не любим, когда кто-то выделяется...

— Но все же самое захватывающее в нашей жизни — встреча лицом к лицу с другим человеком.

— Мне бы хотелось, чтобы так было, чтобы мы питали уважение к инаковости. Но все же обычно происходит иначе — чужих мы не любим.

— Однако мы говорим не только об инаковости в плане культуры либо цвета кожи. Каждый человек — иной, и когда вы говорите об анонимности, то мы понимаем, что это также бегство от другого человека, неспособность начать диалог в основополагающем смысле слова.

— Наверное, так. Человек — существо неповторимое и парадоксальное. В нем живет страх перед другим человеком, но вместе с тем и стремление к нему. Собственно говоря, он не может без него жить. Есть у нас также — может, не у всех, нельзя обобщать — желание сделать другого таким же, как мы, кем-то не отличающимся от нас. Мы любим общаться только с людьми, которые мыслят так же, так же реагируют, мы себя с ними лучше чувствуем. Но, с другой стороны, этот другой человек дает нам что-то, чего мы даже не ожидаем. Есть в этом удивительная противоречивость страха, стремления, неприязни и тоски. Человек — существо непростое, в нем все это коренится вместе.

— Вы написали, что мы никогда не бываем одни, но всегда одиноки.

— Одиночество временами ужасно, но порой ценно. Только в одиночестве мы можем быть самими собой. Только оно дает нам возможность взглянуть в себя. С одной стороны, нам необходимо общение, но с другой — человек, который задумывается над смыслом своей жизни, над собой самим, порой нуждается в барьере, который отделяет его от других. И это не результат психологических предпосылок. Я готова утверждать, что одиночество позволяет нам найти свои онтологические корни — оно затрагивает структуру нашего бытия.

— А не философский ли это абстракт? Существует ли вообще абсолютное одиночество?

— Думаю, да. Может быть, иногда при сильном страдании. Может, в те редкие моменты, когда мы полностью отчуждены, когда невозможно друг друга понять. А кроме того, жизнь устремлена к смерти, и умираем мы одни. Никто не умирает с кем-то.

— Это-то и есть предел нашего одиночества? Смерть...

— Может быть. Не знаю.

— Мы считаем, что любовь — это нечто, соединяющее двух людей в одно целое. Но из нашего разговора вытекает, по-видимому, что-то иное. Рильке писал, что любовь — это забота о чужом одиночестве. Это определение любви как будто подходит к тому, о чем мы здесь говорим.

— Генрик Эльзенберг сказал, что любовь — это радость от чужого существования. Мне нравятся эти слова. Дело тут не в

единстве, а в чем-то противоположном: в глубоком признании инаковости. Мы никогда не подчиним себе другого человека — я не верю в слияние воедино. Зато я верю в признание инаковости, в восхищение другим существом. Зачарованность его инаковостью: спасибо, что ты другой. Меня влечет к тебе именно потому, что ты — другой; что ты не такой же, как я. Может, это самое важное в любви? Зато когда хочется этого другого человека сделать себе подобным, нивелировать, то это, пожалуй, любовь неглубокая, которая заканчивается чаще всего трагически.

— Когда же мы начинаем искать себя? Когда возникает вопрос: кто я? Или бывают какие-то особые обстоятельства, которые провоцируют человека, какие-то пограничные ситуации?

— Очень мало людей задумываются об этом. Проще жить, не задаваясь вопросом о себе, о смысле собственной жизни. Я не знаю, когда возникает такой вопрос. Может быть, необходимо стечение обстоятельств, которые заставили бы его задаться? Есть люди, которые никогда его себе не задают. Но есть и такие, кто от этого вопроса не может избавиться, ибо он постоянно возникает и все время терзает.

— Что могут дать человеку эти поиски?

— Не знаю.

— А что это принесло вам?

— Я не могу этого объяснить. Но для меня важна сама потребность придать смысл собственному существованию — столь хрупкому, погруженному в небытие.

— В небытие?

— Да. Оно нам сопутствует постоянно.

— Что оно такое, небытие?

— Вам это, может, покажется смешным, но небытие — это то, чего нет. То, о чем мы сейчас говорим, длилось невероятно краткое мгновение, и этого уже нет. А то, что наступит, чего мы ждем, еще не существует.

Существует лента памяти — это правда, — но что-то было, что-то будет, и где же мы пребываем? На тонком острие настоящего, которое все время передвигается. Может, мы находимся скорее в том, что было, а может, скорее в том, что

будет... Мы непрерывно перескакиваем из прошлого в будущее и обратно.

— И у нас никогда нет «теперь»?

— Никогда. «Теперь» вообще не существует. Но это небытие еще откуда-то выглядывает. Ведь мы появляемся неизвестно откуда, брошенные в мир, и уходим неизвестно куда.

— Мы никогда не находимся в «теперь», которое окружено небытием. Ужасающая картина.

— Может быть. Что ж, человеческая жизнь столь зыбка, непрочна, столь в сущности коротка. Поэтому нужно задумываться о смысле данной минуты. Задать себе вопрос, что она такое.

— Что же может придать ей смысл?

— Может, только... нет, на это я не могу ответить. Скажу лишь, что с каждым человеком это происходит по-разному.

— А что такое надежда? Говорят: «слепая надежда», «надеждой жив не будешь»...

— Я придаю надежде огромное значение. Из великих кантовских вопросов это для меня самый главный: на что мы можем надеяться?

— Этим-то мы и живем?

— Без этого мы не могли бы жить или же нам пришлось бы погрязнуть в повседневности. Надежда устремлена в разных направлениях — для каждого она значит что-то свое.

— Так что же нас поддерживает в жизни?

— Сильнее всего — деятельность. Для многих людей именно она реальна, нормальна, а весь этот философский вздор, размышления о собственной жизни — пустая болтовня, чистая метафизика. Однако человек — существо метафизическое, и он не может избежать этих вопросов.

Впрочем, я убеждена, что человек, который задумывается над собой, который может взглянуть на себя со стороны, живет иначе, иначе реагирует на мир. Он становится другим.

— А что такое суть человека?

— Можно ли вообще говорить о сути человека, если мы не можем познать самих себя? Эта суть столь удивительна, противоречива, многогранна...

— Мы не знаем, что такое человечность, но есть же что-то такое, чему человек должен стараться соответствовать? Что-то, что мы назвали бы призванием...

— Часто говорят, что человек изначально задан. Мне бы не хотелось об этом говорить, ибо тут мы вторгаемся в сферу морализаторства. Меня в человеке занимает его бытие как некая онтологическая структура. Ее неоднократно пытались описывать, но она продолжает оставаться загадочной. Человек — это тайна, это входит в структуру его бытия. Его невозможно постичь до конца. Он сам себя постичь не может. Ведь вопрос «кто я?» извечен. Со времен древней Греции мы ставим этот вопрос и ответить на него не можем. И тотчас возникает сомнение: так зачем же об этом спрашивать?

— И зачем же об этом спрашивать?

— Я всего лишь утверждаю, что тот, кто спрашивает, живет иначе. Я говорю только об этом.

Уже сам вопрос есть ценность. Он заставляет нас задуматься о смысле жизни, которая нам дана. Мы ее никогда не постигнем до конца, мы, люди, конечны, ограничены, у нас нет таких возможностей. Всегда остается что-то, что для нас абсолютно трансцендентно, даже в нас самих, но — давайте приближаться, искать. Ведь единственное, что нам действительно задано, — это поиски. Станем перед самими собой и попытаемся что-то сделать с этой тайной, как-то ее освоить, а не бежать от нее. Я не хочу говорить, к чему это усилие может вести. К добру? К самоотречению? Не знаю. Но это путь, на котором удастся жить честно по отношению к самому себе, с полной ответственностью за свою судьбу. Это самое главное: я за себя отвечаю, и в эту ответственность включен и тот другой, за которого я тоже в ответе.

— Отложим временно вопрос, что такое человечность. Но подумаем: может ли человек отказаться от человечности, можно ли у него ее отнять?

— Ее можно утратить. Можно перестать быть человеком. Человек способен быть зверем. Нам не уйти от той истины, что в человеке живет зло. Зла не существует вне людей. И крайне трудно бежать от зла. Наоборот, подчиниться ему легко. Как это прекрасно сформулировал Эмманюэль Левинас: добро — нечто

высшее, нежели наша жизнь. В нашей жизни есть зло, а добро трансцендентно. Я не была бы столь категорична, ибо даже в наихудшем человеке порой выявляется крупница добра в совершенно неожиданных обстоятельствах. Мне самой доставались эти крупницы добра от подонков общества, от людей, которых общество сочло в корне плохими. Нет в корне плохих людей.

— Проведя десять лет в лагерях, вы видели человека, которого столкнули на дно существования...

— Да, видела.

— Что же тогда происходит с людьми?

— Существует еще нечто такое, как прозябание, но это, пожалуй, другая тема.

— Но ведь это тоже человек...

— У человека тогда отняты все возможности оставаться человеком... Им правит физиология, он уже не властен над собой, никаких человеческих реакций: он предаст, убьет, лишь бы получить миску баланды. То, что голод делает с человеком, это страшно.

— Как это выглядит, когда с нас сдирают оболочку цивилизации?..

— Человек может стать действительно зверем. Но то же самое происходит, когда мы считаем, что все правила, все нормы, которые нам внушали с самого детства, — что все это чепуха и нелепость. Человек не может существовать вне культуры, но он нередко охотно сбрасывает с себя ее «верхнюю одежду».

— Сбрасывает, чтобы освободиться?

— Для одних это — освобождение, для других — забава. Но нельзя забывать, что в человеке заложены запасы необычайной жестокости и что только культура их затормаживает. Маленькие мальчики выкалывают кошкам глаза, старшие мальчики ради забавы способны убить. Слой культуры, совершенно очевидно, крайне тонок. Он так тонок, что зверь, которого мы носим в себе, легко пробуждается. Но настоящий зверь убивает, когда он голоден. А зверь в человеке способен убить ради забавы. Без культуры мы жить не можем, без цивилизации жить не можем, ибо без них мы пожрали бы друг друга.

— Значит ли это, что надо делать усилие для того, чтобы быть человеком?

— Да, и, думаю, постоянное усилие. Я не даю рецептов — у меня их нет. Но когда мы говорим о человеке, то я только хочу подчеркнуть, что это существо не простое — это существо сложное, полное противоречий, прекрасное и в то же время жуткое. Вы смотрите на меня с ужасом, но это так и есть. Он не благословенное существо.

— Значит, есть бесконечный разрыв между злом, на которое человек способен, и добром, к которому он призван?

— Никто, думаю, не призван ни к добру, ни к злу. И каждый отвечает сам за себя.

Март 1998 г.

Беседу вели Катажина Яновская и Петр Мухарский